



К. М. СИМОНОВ

**Глазами человека моего поколения.
Размышления о И. В. Сталине**

<Фрагменты>

<...>

Что же хорошее было связано для нас, для меня в частности, с именем Сталина в те годы? А очень многое, почти все, хотя бы потому, что к тому времени уже почти все в нашем представлении шло от него и покрывалось его именем. Проводимой им неуклонно генеральной линией на индустриализацию страны объяснялось все, что происходило в этой сфере. А происходило, конечно, много удивительных вещей. Страна менялась на глазах. Когда что-то не выходило — значит, этому кто-то мешал. Сначала мешали вредители, промпартия, потом, как выяснилось на процессах, мешали левые и правые оппозиционеры. Но, сметая все с пути индустриализации, Сталин проводил ее железной рукой. Он мало говорил, много делал, много встречался по делам с людьми, редко давал интервью, редко выступал и достиг того, что каждое его слово взвешивалось и ценилось не только у нас, но и во всем мире. Говорил он ясно, просто, последовательно: мысли, которые хотел вдолбить в головы, вдавливал прочно и, в нашем представлении, никогда не обещал того, что не делал впоследствии.

Мы были предвоенным поколением, мы знали, что нам предстоит война. Сначала она рисовалась как война вообще с капиталистическим миром — в какой форме, в форме какой коалиции, трудно было предсказать; нам угрожали даже непосредственные соседи — Польша, Румыния, Малая Антанта — это было до прихода Гитлера к власти, а на Дальнем Востоке — Япония. Мы знали, что находимся в капиталистическом окружении, так и было на самом деле, а постепенно, с оккупацией Японией Маньчжурии, с прихо-

дом к власти Гитлера, с созданием антикоминтерновского пакта, оси будущее проявилось еще более отчетливо. Очевидно, придется воевать с Японией и Германией, может быть, присоединившейся к ним Италией. Враждебной нам оставалась и Польша, хотя было непонятно, как она может оказаться на стороне Германии, и тем не менее она осталась враждебной нам вопреки логике.

На КВЖД твердой рукой был дан отпор китайским милитаристам. Мы этому сочувствовали еще мальчишками. На Хасане произошло столкновение с японцами, в котором мы не отступили. Тогда ходили слухи, что там поначалу все было не так хорошо, как об этом писали, но тем не менее мы там не отступили. Потом был Халхин-Гол, где уже мне довелось быть самому и многое видеть своими глазами. Некоторые разочарования были, что-то не совпадало с тем, чего я ожидал, в частности, японцы сначала били нас в воздухе, пока не появились наши новые самолеты, а главное, наши летчики с опытом боев в Испании, в Китае; поначалу не очень удачно действовала пехота, были случаи паники — этого я не застал, но об этом слышал. Однако танки наши там, на Халхин-Голе, оказались на высоте, в итоге на высоте оказалась и авиация, и, хотя осталось внутреннее ощущение, что наша пехота воевала там не лучше японской, в общем, в масштабах всего халхин-гольского конфликта японцы были разбиты наголову. Это было неопровержимым фактом, а за этим стояло многое из того, что делал Сталин для армии. То, что он занимался армией, вооружением ее, снабжением, отдавал ей много времени и сил, придавал ей должное значение, готовил страну к борьбе, вооруженной борьбе в трудных условиях, было для нас несомненно. Поэтому в итоге, несмотря на некоторые неприятные для нашего сознания неожиданности, мы высоко ценили его деятельность в этом направлении.

Вдобавок мы в Монголии выполнили свой интернациональный долг: договор, подписанный нами с монголами, был выполнен, мы обещали им помочь и помогли полной мерой¹. Это вызывало чувство удовлетворения. По нашим тогдашним представлениям, Сталин как руководитель нашей страны, ее вождь сделал все, что мог, все, что было практически возможно. Мы были убеждены, что если бы не комитет по невмешательству, если бы не блокада Испании, потворство вмешательству в ее дела немецких и итальянских военных контингентов, широкий ввоз из Германии и Италии артиллерии, танков, авиации, республика справилась бы с фашизмом. Мы, со своей стороны, были людьми с чистой совестью, мы

сделали все, что могли. А персонифицируя все это, мы жили с ощущением, что Сталин сделал все, что мог, для спасения Испанской республики, для эвакуации испанских детей и сирот — в общем, с его именем было связано представление о неукоснительном исполнении нашего интернационального долга.

К этому кругу «хорошего», связанного в нашей жизни с тогдашними представлениями о Сталине, относилась еще и Арктика — спасение экипажа «Челюскина», высадка на Северном полюсе Папанина с товарищами, перелеты Чкалова и Громова. За организацией всего этого, за всеми этими смелыми предприятиями в нашем ощущении стоял Сталин, к нему приезжали, ему докладывали об этом. А связанные с этим торжества приобретали характер всенародный, и это сближало всех нас, за редким исключением, с в общем-то далекой, отъединенной фигурой Сталина.

<...>

Пакт с немцами, приезд Риббентропа в Москву и все, с этим связанное, поначалу не внесли сколько-нибудь заметной трещины в мое представление о Сталине, хотя само это событие психологически, особенно после всего, что произошло в Испании, после открытой схватки с фашизмом, которая была там, потрянуло меня так же, как и моих сверстников, — многих, наверное, довольно сильно. Что-то тут невозможно было понять чувствами. Может быть, умом — да, а чувствами — нет. Что-то перевернулось и в окружающем нас мире, и в нас самих. Вроде бы мы стали кем-то не тем, чем были; вроде бы нам надо было продолжать жить с другим самоощущением после этого пакта.

<...> Было еще такое чувство — я потом о нем писал, стараясь точно выразить его, здесь хочу это повторить, — что вместе с этим пактом там, где-то далеко, отодвинулась опасность удара в спину. Обычное ощущение при жизни в Москве в эти годы, когда все нарастало ощущение предстоящей войны с фашистской Германией — мы как бы находились лицом к ней, она была перед нами, а Япония, маньчжурская граница, на которой беспрерывно происходили конфликты, Монголия, в которую японцы вторгались, вторглись в тридцать девятом году вовсе не в первый раз — до этого было несколько предыдущих проб, — все это там, за спиной. Нож в спину был там, угроза такого удара исходила от японцев. Когда мы были там, на Халхин-Голе, когда там шла война, эта возможность удара в спину ножом связывалась с Германией, этот удар ожидался с запада, уже это было у нас за спиной. И вот вдруг на-

ступила странная, неожиданная, оглушающая своею новизной эра предстоящего относительного спокойствия: был заключен пакт о ненападении — с кем? — с фашистской Германией.

Когда началась война немцев с Польшей, все мое сочувствие так же, как и сочувствие моих товарищей по редакции военной газеты, где мы вместе работали, было на стороне поляков, потому что сильнейший напал на слабейшего и потому что пакт о ненападении пактом, а кто же из нас хотел победы фашистской Германии в начавшейся европейской войне, тем более легкой победы? Быстрота, с которой немцы ворвались и шли по Польше, огорошивала и тревожила.

Семнадцатого сентября тридцать девятого года заявление о вступлении наших войск в Западную Украину и Белоруссию в связи с развалом Польши как государства застало меня тоже еще на Халхин-Голе. За сутки до этого было, по-моему, самое крупное воздушное сражение над монгольской степью. В воздухе было несколько сотен самолетов. Впоследствии, в пятидесятом году, при встречах с Георгием Константиновичем Жуковым я, сам немножко стесняясь тогда того, что сейчас скажу, все-таки сказал ему правду, что после этих воздушных боев над Халхин-Голом я ни разу не видел в годы Великой Отечественной войны, чтоб в воздушном бою у меня над головой участвовало столько самолетов. А он усмехнулся и неожиданно для меня ответил: «А ты думаешь, я видел? И я не видел».

Я вспомнил об этом к тому, что, хотя мы окружили, разбили, в общем, разгромили, это не будет преувеличением сказать, японцев на монгольской территории, но что будет дальше и начнется ли большая война с Японией, было неизвестно, как мне тогда казалось, можно было ждать и этого. А то, что там, в Европе, наши войска вступают в Западную Украину и Белоруссию, мною, например, было встречено с чувством безоговорочной радости. Надо представить себе атмосферу всех предыдущих лет, советско-польскую войну 1920 года, последующие десятилетия напряженных отношений с Польшей, осадничество, переселение польского кулачества в так называемые восточные коресы, попытки колонизации украинского и в особенности белорусского населения, белогвардейские банды, действовавшие с территории Польши в двадцатые годы, изучение польского языка среди военных как языка одного из наиболее возможных противников, процессы белорусских коммунистов. В общем, если вспомнить

всю эту атмосферу, то почему же мне было тогда не радоваться тому, что мы идем освобождать Западную Украину и Западную Белоруссию? Идем к той линии национального размежевания, которую когда-то, в двадцатом году, считал справедливой, с точки зрения этнической, даже такой недруг нашей страны, как лорд Керзон, и о которой вспоминали как о линии Керзона, но от которой нам пришлось отступить тогда и пойти на мир, отдававший Польше в руки Западную Украину и Белоруссию, из-за военных поражений, за которыми стояли безграничное истощение сил в годы мировой и гражданской войны, разруха, неприконтинентальный Врангель, предстоящие Кронштадт и антоновщина, — в общем, двадцатый год. То, что происходило, казалось мне справедливым, и я этому сочувствовал.

<...>

Для меня не было вопроса: в Западной Белоруссии, где я оказался, белорусское население — а его было огромное большинство — было радо нашему приходу, хотело его. И, разумеется, из головы не выходила еще и мысль, не чуждая тогда многим: ну а если бы мы не сделали своего заявления, не договорились о демаркационной линии с немцами, не дошли бы до нее, если бы не было всего этого, очевидно, связанного так или иначе — о чем приходилось догадываться — с договором о ненападении, то кто бы вступал в эти города и села, кто бы занял всю эту Западную Белоруссию, кто бы подошел на шестьдесят километров к Минску, почти к самому Минску? Немцы. Нет, тогда никаких вопросов такого свойства для меня не было, в моих глазах Сталин был прав, что сделал это. А то, что практически ни Англия, ни Франция, объявив войну немцам, так и не пришли полякам на помощь, подтверждало для меня то, что писалось о бесплодности и неискренности с их стороны тех военных переговоров о договоре, который мог бы удержать Германию от войны.

Вдобавок было на очень свежей памяти все давнее: и Мюнхен, и наша готовность вместе с Францией, если она тоже это сделает, оказать помощь Чехословакии, и оккупация немцами Чехословакии, — все это было на памяти и все это подтверждало, что Сталин прав. Хотя все вроде было так, а все-таки что-то было и не так, какой-то червяк грыз и сосал душу. За этим стояло не до конца осознанное ощущение — очевидно, так, именно ощущение, а не концепция, — что мы из-за договора о ненападении в чем-то из кого-то одного стали кем-то другим. С точки зрения

государства, самоощущения себя как человека этого государства, все вроде было правильно. С точки зрения самоощущения себя как человека той страны, которая была надеждой всего мира, вернее, не всего мира, а всех наших единомышленников в мире, главной надеждой в борьбе с мировым фашизмом — мы говорили тогда о мировом фашизме, он был для нас не только немецким, — было что-то не то. В этом прежнем самоощущении было что-то утрачено. Я это чувствовал и знал, что это чувствуют другие.

Возвращаясь в мыслях к тому времени, к тогдашним психологическим ощущениям человека, в общем, сознательно поддерживавшего Сталина, а в то же время бессознательно что-то не принимавшего во всем этом, — думаю сейчас о самом Сталине. Как быть в этих обстоятельствах, когда, с одной стороны, Франция и Англия не хотели заключать к чему-то обязывающего не только нас, но и их серьезного военного договора, а с другой стороны, фашистская Германия предлагала пакт о ненападении и готова была при этом в случае войны с Польшей не переступить линии Керзона, не доходить до наших границ, а, наоборот, дать нам дойти до этой линии, некогда предполагавшейся как справедливая граница между нами и Польшей?

Сталин решал, как быть. Решал сам. Он мог советоваться, спрашивать мнения, запрашивать данные — не знаю этих обстоятельств и не вхожу в них, — знаю одно: он к этому времени обеспечил себе такое положение в партии и в государстве, что если он твердо решал нечто, то на прямое сопротивление ему рассчитывать не приходилось, отстаивать свою правоту ему было не перед кем, он заведомо был прав, раз он принимал решение. Так вот, я задаюсь теперь вопросом — психологическим, — было ли у него внутреннее противодействие этому решению, было ли у него, хотя бы частично, ощущение того, что где-то в глубине души чувствовали мы: с этим решением мы становимся в чем-то другими, чем были?..

<...>

Когда я задумываюсь над этим сейчас, мне начинает казаться, что такого рода ощущения у него могли быть. У меня нет никаких сомнений в том, что конечный этап отношений с гитлеровской Германией он представлял себе как схватку не на жизнь, а на смерть, схватку, которая должна была принести нам победу. И в чем-то он смотрел на пакт о ненападении так же, как и наши, как их тогда между собой называли мы — «заклятые друзья» — немецкие фашисты: это был шаг по пути к той будущей схватке,

в которой не будет среднего выхода, будет или — или, в которой мы обязаны победить.

Мне почему-то кажется, что он мог вспоминать период борьбы за заключение Брестского мира, период, в который Ленин должен был вести жесточайшую борьбу внутри партии для того, чтобы доказать свою правоту и заключить этот мир. Сталин в этом не нуждался, он успел поставить себя в такое положение, когда собирать голоса в поддержку своего решения ему не приходилось, — в этом была разница. Но может быть, от этого и чувство собственной ответственности было еще тяжелее. Решения, принимаемые при общем молчании или при равнозначном этому общему молчанию механическом одобрении, куда тяжелее, чем могут показаться с первого взгляда. В конце концов, если вдуматься, окончательные решения, принимаемые одним за всех, — самое трудное и самое страшное. Военные это знают лучше всего. Правда, у них это бывает вызвано прямой и объективной необходимостью самих условий войны. Сталин создал для себя подобную необходимость сам, шел к ней долгим и кровавым путем. И все же, говоря все это, я думаю: а не ставил ли он себя тогда, перед заключением пакта, мысленно на место Ленина в период Брестского мира? Своих умозрительных предполагаемых оппонентов — на место Бухарина и левых коммунистов или на место Троцкого? Не поддерживал ли он своей решимости мыслью, что этот похабный пакт — он вполне мог мысленно так называть его, особенно если вспоминал Ленина при этом, — ничем не хуже похабного Брестского мира, — что этот похабный пакт в сложившейся международной обстановке не менее необходим, чем похабный Брестский мир, хотя связан с идеологическими утратами, но утраты эти потом, когда в конце концов все кончится победой над фашизмом, нашей победой, а не чьей-либо еще, — эти утраты окажутся обратимыми, а сейчас этот пакт даст ту передышку, которая необходима для решения будущих задач. Наивно, конечно, пробовать думать за такого человека, как Сталин, представлять себе ход его мыслей — эти домыслы, разумеется, ни на чем ином, кроме интуитивной уверенности, не основаны, и все же не могу отказаться от мысли, что в них есть своя логика.

<...>

Психологически мимо меня прошло и начало финской войны. Скажу правду, было больше чувство неловкости перед уехавшими прямо оттуда, из дома творчества, где мы вместе жили, на эту войну товарищами — Горбатовым, Долматовским, Хацревиным,

чем собственное желание оказаться на этой войне. Отвлекаясь от всего — от государственных задач, стратегии, необходимости предвидеть всю опасность ситуации, которая может сложиться в случае войны с немцами, — отвлекаясь от всего этого, было нечто, мешавшее душевно стремиться на эту войну Советского Союза с Финляндией так, как я стремился, даже рвался попасть на Халхин-Гол в разгар событий, которые могли перерасти в войну с Японией. Стратегия — стратегией, мысли о государственной необходимости и о будущей опасности ситуации не были чужды, как мне помнится, мне, во всяком случае, я стремился понять правильность происходящего или, точнее, его необходимость, а все-таки где-то в душе война с Японией была чем-то одним, а война с Финляндией — чем-то совсем другим.

В январе сорокового года были созданы двухмесячные курсы при академии Фрунзе по подготовке военных корреспондентов. Я был еще не совсем здоров, но на курсы эти пошел. Война с Финляндией к этому времени уже оказалась не такой, какой, очевидно, многие поначалу ее себе представляли, в какой-то мере, наверное, и я, хотя к тому времени у меня, может быть, от отцовского воспитания плюс опыт Халхин-Гола уже укрепилось довольно стойкое противодействие шапкозакидательским настроениям и шапкозакидательским разговорам — они мне в ту пору претили, это я говорю, не преувеличивая. В чем-то я был еще наивен, в этом, пожалуй, уже нет. Финская война затягивалась, и молчаливо предполагалось, что, окончив в середине марта двухмесячные курсы, на которых мы много и усердно занимались основами тактики и топографии и учились владеть оружием, мы поедем как военные корреспонденты на фронт. Очевидно, на смену тем, кто поехал раньше, в том числе заменяя тех, кто уже погиб там к тому времени. На Халхин-Голе всех, как говорится, бог миловал, а здесь, на финской, трое писателей, работавших военными корреспондентами, погибли. На эту войну меня, как я уже говорил, не тянуло, но после Халхин-Гола я внутренне ощущал себя уже военным или, во всяком случае, причастным к армии человеком, и если бы мир не был подписан как раз в день окончания нами курсов, конечно, оказался бы и на этой войне. Но она кончилась, кончилась в итоге удовлетворением именно тех государственных требований, которые были предъявлены Финляндии с самого начала, в этом смысле могла, казалось бы, считаться успешной, но внутренне все мы пребывали все-таки

в состоянии пережитого страной позора, — с подобной прямоотой об этом не говорилось вслух, но во многих разговорах такое отношение к происшедшему подразумевалось. Оказалось, что мы на многое не способны, многого не умеем, многое делаем очень и очень плохо. Слухи о том, что на сложившееся в армии положение вещей обращено самое пристальное внимание Сталина, что вообще делаются какие-то выводы из происшедшего, доходили и до таких людей, как я. А потом подтверждением этого стало снятие с поста наркома Ворошилова, назначение Тимошенко и очень быстро дошедшие слухи о крутом повороте в обучении армии, в характере ее подготовки к войне.

За этим последовало лето сорокового года, захват немцами Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии, Дюнкерк, разгром и капитуляция Франции — все эти события просто не умещались сразу в сознании. Хотя французы и англичане не помогли Польше, хотя война в Европе была названа «странной», но того финала этой «странной» войны, который произошел, я думаю, у нас не ожидали ровно в такой же степени — а кто знает, может быть, даже и в большей, — чем там, на Западе, где все это случилось.

То, что мы когда-нибудь будем воевать с фашистской Германией, для меня не составляло ни малейших сомнений. Начиная с тридцать третьего года, с пожара рейхстага, процесса Димитрова, люди моего поколения жили с ощущением неизбежности столкновения с фашизмом. Испания еще более укрепила это ощущение, а пакт с немцами не разрушил его. Может быть, для кого-то и разрушил — не знаю. Для меня и для моих товарищей в тогдашней молодой литературе — нет, не разрушил. Просто казалось, что это будет довольно далеко от нас, что до этого будет долго идти война между Германией, Францией и Англией, и уже где-то потом, в финале, столкнемся с фашизмом мы. Такой ход нашим размышлениям придал пакт. В этом сначала было нечто успокоительное. Финская война, со всеми обнаружившимися на ней нашими военными слабостями, заставила задним числом думать о пакте как о большем благе для нас, чем это мне казалось вначале. Тревожно было представить себе после финской войны и всего, на ней обнаружившегося, что мы — вот такие, какими мы оказались на финской войне в тридцать девятом году, — не заключили бы пакта, а столкнулись бы один на один с немцами.

Естественно, что случившееся во Франции только обострило это чувство, и обострило многократно. То, что впереди война — рано

или поздно, — мы знали и раньше. Теперь почувствовали, что она будет не рано или поздно, а вот-вот.

На курсы военных корреспондентов при Военно-политической академии, занятия на которых начались осенью сорокового года, а закончились в середине июня сорок первого года, когда нам, вернувшимся из лагерей, присвоили воинские звания, я пошел с твердой уверенностью, что впереди у нас очень близкая война. В дальнейшем никакие перипетии отношений с немцами успокоения в мою душу не вносили — говорю о себе и говорю так, как оно было со мной. Сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года, которое, как потом много об этом говорили, кого-то демобилизовало, а чью-то бдительность усыпило, на меня, наоборот, произвело странное, тревожное впечатление — акции, имеющей сразу несколько смыслов, в том числе и весьма грозный смысл для нас. А после вторжения немцев в Югославию у меня было ощущение войны, надвинувшейся совершенно вплотную. Я знал не больше других, никакими дополнительными сведениями я не располагал, но просто чувствовал, что иначе оно, наверное, не может быть теперь, после того, что случилось с Югославией.

Пьесе «Парень из нашего города», хотя она была о Монголии и о разгроме японцев, я абсолютно сознательно закончил тем, что ее герои уходят в бой. Кончил не апофеозом, который был на самом деле на Халхин-Голе, а тем моментом, когда самые ожесточенные бои еще продолжались и многое было впереди. Об этом же я говорил при обсуждении моей пьесы за несколько недель до войны, говорил о том, что при всех своих недостатках пьеса написана так, а не иначе, потому что не нынче-завтра нас ждет война. И когда война началась, в то утро ощущение потрясенности тем, что она действительно началась, у меня было, разумеется, как и у всех, но ощущение неожиданности происшедшего отсутствовало. Да, конечно, началась внезапно, — а как еще иначе ее могли начать немцы, которые именно так и действовали во всех других случаях прежде, именно так начали и в этот раз. Почему они, собственно говоря, могли начать как-то по-другому?

<...>

Добавлю, что в принципе утилитарное отношение к истории в некоторых случаях сочеталось у Сталина с личным отношением к тем или иным историческим личностям, в действиях которых он таким образом получал дополнительную опору в истории. Я еще вернусь к этому, сначала же хочу сказать об историческом ути-

литераризме Сталина шире, как об общей концепции, включавшей в себя и личный момент.

Начну с того, что Сталин никогда не высказывался против увлечения исторической тематикой вообще и никогда не призывал писателей к непременно изображению современности как самого главного и неотложного для них дела. Таких высказываний у него я не помню.

Но, анализируя книги, которые он в разные годы поддерживал, вижу существовавшую у него концепцию современного звучания произведения, концепцию, в конечном счете связанную с ответом на вопрос: «Нужна ли эта книга нам сейчас?» Да или нет?

Если начать не с литературы, а с истории, то для меня несомненно, что замечания Сталина, Жданова и Кирова к конспектам учебников новой истории и истории СССР, появившиеся в январе тридцать шестого года, отнюдь не были свидетельством вдруг возникшей у Сталина симпатии к царям и иным государственным деятелям царской России. Покровский отвергался, а на его место ставился учебник истории Шестакова не потому, что вдруг возникли сомнения в тех или иных классовых категориях истории России, а потому, что потребовалось подчеркнуть силу и значение национального чувства в истории и тем самым в современности, в этом и был корень вопроса². Сила национально-исторических традиций, в особенности военных, была подчеркнута в интересах современной задачи. Задача эта, главная в то время, требовала мобилизовать все, в том числе и традиционные, национальные, патриотические чувства, для борьбы с германским нацизмом, его претензиями на восточное пространство и с его теориями о расовой неполноценности славянства.

Если говорить о литературе, то Сталин за те годы, когда существовали Сталинские премии, делавшие более очевидными его оценки, поддержал или сам выдвинул на премии целый ряд произведений исторических. А если говорить о кино, то даже составил программу — о каких исторических событиях и о каких исторических личностях следует сделать фильмы.

И всякий раз — и за произведениями, получившими премии, и за идеями о создании произведений о чем-то или о ком-то, произведений, которые впоследствии были обречены, как правило, на премию, стояли сугубо современные политические задачи. В свое время Сталин сначала поддержал «Чапаева», а вслед за тем выдвинул идею фильма о Щорсе. И Чапаев, и Щорс были подлин-

ными героями гражданской войны, но при этом с точки зрения общих масштабов были, конечно, фигурами второго плана. И поддержка Сталиным фильма «Чапаев», и его идея фильма о Щорсе пришлись на ту пору, когда фигуры первого плана, занимавшие высокие посты в современной армии, такие, как Егоров, как Тухачевский или Уборевич, бывшие командующие Юго-Западным, Западным, Дальневосточным фронтами, были предназначены к исчезновению из истории гражданской войны — не просто к исчезновению из жизни, а к исчезновению из истории. Троцкий был прямым политическим врагом, и не о нем и его сторонниках в данном случае речь, но, разумеется, не случайно, что по идее Сталина делался фильм о Щорсе, а не о таких, как и Щорс, уже ушедших в небытие, но куда более крупных, притом политически никак не запятнанных фигурах, как, скажем, Фрунзе или Гусев.

С выходом «Щорса» кино обогатилось еще одной хорошей картиной, в целом хорошей, а местами потрясающей, но одновременно с этим закрепились важная тогда для Сталина концепция истории гражданской войны, современная схема: Ленин — Сталин — Щорс — Чапаев — Лазо. После великого «Чапаева» братья Васильевы делают очень хорошую картину «Волочаевские дни», Закрепляющую все ту же концепцию, при которой из поля зрения исчезают фигуры людей, руководивших борьбой на Дальнем Востоке, Уборевича и Постышева.

В первом списке Сталинских премий, опубликованном уже в войну, в самый разгар ее, в сорок втором году, фигурировали рядом два исторических романа: «Чингисхан» Яна и «Дмитрий Донской» Бородина. Повествование о событиях, отдаленных от сорок второго года семью с лишним и без малого шестью веками, видимо, по соображениям Сталина, имело сугубо современное значение. Роман «Чингисхан» предупреждал о том, что происходит с народами, не сумевшими сопротивляться нашествию, покоренными победителем. Роман «Дмитрий Донской» рассказывал о начале конца татарского ига, о том, как можно побеждать тех, кто считал себя до этого непобедимыми. Эти романы были для Сталина современными, потому что история в них и предупреждала о том, что горе побежденным, и учила побеждать, да притом вдобавок на материале одного из самых всенародно известных событий русской истории.

Эти исторические романы, вышедшие перед войной, были премированы сразу же, в сорок втором. Но в сороковом или в сорок

первом году вышел еще один исторический роман, который по его выходе был читан Сталиным, но премирован через несколько лет. Этот очень интересный факт подтверждает утилитарность сталинского взгляда на исторические произведения. Я говорю о романе Степанова «Порт-Артур», который был премирован не раньше, не позже, а в 1946 году, после того как Япония была разбита, поставленная Сталиным задача — рассчитаться за 1905 год и, в частности, вернуть себе Порт-Артур — была выполнена. В сорок втором или в сорок третьем году Сталин мог вполне сказать об этой нравившейся ему книге: нужна ли она нам сейчас? Нужно ли было, особенно до начала сорок третьего года, до капитуляции Паулюса в Сталинграде, напоминание о падении Порт-Артура. А в сорок шестом Сталин счел, что эта книга нужна как нечто крайне современное, напоминавшее о том, как царь, царская Россия потеряли сорок лет назад то, что Сталин и возглавляемая им страна вернули себе сейчас; напоминавшее о том, что и тогда были офицеры и солдаты, воевавшие столь же мужественно, как советские офицеры и солдаты в эту войну, но находившиеся под другим командованием, под другим руководством, неспособным добиться победы.

Быть может, я несколько огрубляю и упрощаю, но в сути написанного мною сейчас я уверен.

Из довольно большого потока исторических сочинений Сталин выделял то, что, по его мнению, служило интересам современности. История падения ныне возвращенного Порт-Артура служила современности, а история русской деревни — примерно в те же самые годы начала века, — по его представлениям, интересам современности не служила, и на вопрос: «Нужна ли эта книга нам сейчас?» — Сталин отвечал отрицательно.

<...>

Он любил кино, много смотрел его, сам давал задания некоторым из режиссеров, в числе которых были Чиаурели, Довженко, Эйзенштейн, причем последние два писали сценарии для своих фильмов и сами, без чужой помощи... Во всяком случае, он ничего так не программировал — последовательно и планомерно, — как будущие кинофильмы, и программа эта была связана с современными политическими задачами, хотя фильмы, которые он программировал, были почти всегда, если не всегда, историческими. Он не фантазировал на темы о том, как и каким надо изображать современного человека. Он брал готовую фигуру в истории, кото-

рая могла быть утилитарно полезна с точки зрения современной политической ситуации и современной идейной борьбы. Это можно проследить по выдвинутым им для кино фигурам: Александр Невский, Суворов, Кутузов, Ушаков, Нахимов. Причем показательно, что в разгар войны при учреждении орденов Суворова, Кутузова, Ушакова и Нахимова как орденов полководческих на первое место были поставлены не те, кто больше остался в народной памяти — Кутузов и Нахимов, а те, кто вел войну и одерживал блистательные победы на рубежах и за рубежами России. И если Суворов и Кутузов были в смысле популярности фигурами примерно равновеликими, то в другом случае, с Нахимовым или Ушаковым, всенародно известной фигурой был, конечно, Нахимов, а не Ушаков. Но с Ушаковым была связана мысль о выходе в Средиземное море, о победах там, о наступательных действиях флота, и полагаю, что именно по этой причине ему при решении вопроса о том, какой из морских флотоводческих орденов будет высшим, была отдана пальма первенства перед Нахимовым, всего-навсего защищавшим Севастополь.

Разумеется, все это могло быть и так, и иначе, но, мне кажется, все же не случайно, что у Сталина получилось именно так: полководческие ордена, введенные после победы под Сталинградом, были именно в такой последовательности: Суворов, Кутузов, Ушаков и Нахимов.

<...>

<...> Люди, прошедшие войну, часто вспоминают тост, который произнес Сталин в мае 1945 года «за здоровье русского народа»...

<...> Бесспорно, эти слова содержат и прямое признание ряда ошибок, и справедливую оценку наиболее кризисных моментов 1941–1942 годов. Эти слова содержат и самокритику, поскольку, употребляя слово «правительство», Сталин привык подразумевать под этим себя.

Все это так. Но у всего этого была и своя обратная сторона, что, на мой взгляд, вообще, как правило, надо иметь в виду, оценивая слова и дела Сталина. Сталин своим тостом отнюдь не призывал других людей, в том числе историков, к правдивым и критическим оценкам хода войны. Наоборот, сам, как высший судья, оценив этот этап истории, в том числе и свои отношения с русским народом так, как он их понимал, он как бы ставил точку на самой возможности существования каких бы то ни было критических оценок в дальнейшем. Слова этого тоста как будто призывали людей

говорить о прошлом суровую правду, а на деле за этими словами стояло твердое намерение раз и навсегда подвести черту под прошлым, не допуская его дальнейшего анализа. И не трудно себе представить, какая судьба ждала бы при жизни Сталина человека, который, вооружившись цитатами из этого знаменитого тоста, попробовал бы на конкретном историческом материале развивать слова Сталина о том, что у правительства было немало ошибок, или как свидетель и участник войны проиллюстрировал бы эти слова личными воспоминаниями.

<...>

<...> После тяжкого разгрома военных кадров в 1937–1938 годах и финской войны, наглядно показавшей гибельные для армии результаты этого разгрома, был взят решительный курс на перестройку армии с целью вернуть ей действительную мощь и боеспособность.

Однако в идеологии были еще сильны настроения, порожденные предыдущим периодом, когда в обстановке репрессий 1937–1938 годов заикнуться о силе противника или о нашей недостаточной готовности к большой войне значило совершить политическое самоубийство.

Обстановка уже изменилась к лучшему, но настроения, рожденные 1937–1938 годами, продолжали давать себя знать самым опасным образом и в общественной жизни, и в литературе³.

Достаточно назвать как эталон этих настроений хорошо памятный людям моего поколения предвоенный роман «Первый удар», в котором мы, уже не помню то ли за сутки, то ли за двое, расколачивали в пух и прах всю фашистскую Германию. И беда была не в бездарности этого романа, а в том, что он был издан полумиллионным тиражом и твердой рукой поддержан сверху.

Приведенные документы говорят о том, что хотя в нашем обществе перед войной уже начинался поворот в сознании, но инерция 1937–1938 годов была еще очень сильна, и это приводило к резкому столкновению взглядов и на армию, и на будущую войну...

<...> В данном случае я говорю о 1937–1938 годах лишь с точки зрения их прямого влияния на нашу неготовность к войне. К сожалению, люди, от всей души клеймящие позорные события тех лет, порой узко и односторонне трактуют влияние этих событий на дальнейшие судьбы армии. Прочтешь статью, где, в очередной раз перечислив несколько имен погибших в 1937 году военачальников, автор намекает, что, будь они живы, на войне все пошло бы

по-другому, и думаешь: неужели автор и в самом деле все сводит лишь к этому?

Однажды, прочитав такие рассуждения, я даже попробовал мысленно представить: предположим, в 1937 году не было бы всего остального, а был бы просто один трагический случай — авария летевшего на маневры самолета, на борту которого находились Тухачевский, Уборевич, Корк и другие жертвы будущего фальсифицированного процесса. Была бы эта трагедия трагической? Конечно. Нанесла бы она ущерб строительству армии? Разумеется. Привела бы она через четыре года — в 1941 году — к далеко идущим последствиям?

Спросил и мысленно ответил себе: нет, не привела бы. Потому что потеря такого рода при всем ее трагизме заставила бы нас по нашей революционной традиции только теснее сплотить ряды, выдвинула бы новых способных людей, выпестованных партией и Красной Армией.

Нет, нельзя сводить все к нескольким славным военным именам того времени. И нельзя рассматривать возможную роль этих людей в будущей войне отторженно от той атмосферы, в какой они погибли и которая еще сильнее сгустилась в результате их гибели с посмертным клеймом изменников родины.

Во-первых, погибли не они одни. Вслед за ними и в связи с их гибелью погибли сотни и тысячи других людей, составлявших значительную часть цвета нашей армии. И не просто погибли, а в сознании большинства людей ушли из жизни с клеймом предательства.

Речь идет не только о потерях, связанных с ушедшими. Надо помнить, что творилось в душах людей, оставшихся служить в армии, о силе нанесенного им духовного удара. Надо помнить, каких невероятных трудов стоило армии — в данном случае я говорю только об армии — начать приходить в себя после этих страшных ударов.

К началу войны этот процесс еще не закончился. Армия оказалась не только в самом трудном периоде незаконченного перевооружения, но и в не менее трудном периоде незаконченного восстановления моральных ценностей и дисциплины.

Не разобравшись в этом вопросе, нельзя до конца разобраться и в причинах многих наших неудачных действий в преддверии и в начале войны. Мне хочется поспорить с нет-нет да и проскальзывающей тенденцией противопоставления кадров, погибших

в 1937–1938 годах, кадрам, которым хочешь не хочешь пришлось принять на свои плечи войну.

Некоторым, видимо, кажется, что они отдают должное личности Тухачевского или Якира, намекая, что, командуй они в первый день войны фронтами вместо Кирпоноса или Павлова, все пошло бы по-другому. Такие внешне эффектные противопоставления мне лично кажутся не только легковесными, но и морально безответственными.

Да, по образному выражению одного из наших крупных военных, «война отбирала кадры». Не на месте оказались некоторые видные военачальники, жившие заслугами прошлого и отставшие от времени. Не на месте оказались и некоторые слишком поспешно выдвинутые перед войной молодые командиры.

Но война отбирала и отобрала кадры. И людям, во главе дивизий, армий и фронтов отступавшим до Москвы, до Ленинграда, до Сталинграда, но не отдавшим ни того, ни другого, ни третьего, а потом перешедшим в наступление, научившимся воевать и в конце концов разгромившим сильнейшую армию мира — германскую армию — и дошедшим до Берлина, — им, этим людям, не надо противопоставлять ни Тухачевского, ни Якира при всем глубоком уважении к их именам.

Когда мы говорим о просчетах Гитлера и германского генерального штаба, следует помнить, что один из их главных просчетов был просчет в оценке кадров. В 1937–1938 годах эти кадры действительно понесли страшный урон. Но Гитлер и германский генеральный штаб считали этот урон невозполнимым, а нашу армию в условиях большой войны небоеспособной.

Однако те кадры, которые сохранились в нашей армии, пережив тяжелейшие моральные испытания 1937–1938 годов и еще не оправившись от них в начале войны, показали и свое искусство, и свою способность к росту и совершенствованию. Показали, что они люди той же советской военной школы, из которой вышли такие люди, как Тухачевский, Уборевич, Якир, и в конце концов сделали то, чего не ожидали от них ни наши враги, ни наши союзники, — вышли из этой страшной войны победителями.

Нам неизвестно и останется неизвестным, как воевали бы в 1941 году Блюхер или Белов, Дыбенко или Федько. Об этом можно говорить только предположительно. Но зато нам твердо известно другое: не будь 1937 года, не было бы и лета 1941 года, в этом корень вопроса. Не будь 1937 года, мы к лету 1941 года были бы несомненно сильнее во всех отношениях, в том числе

и в чисто военном, и прежде всего потому, что в рядах командного состава нашей армии пошли бы на бой с фашизмом тысячи и тысячи преданных коммунизму и опытных в военном деле людей, которых изъял из армии 1937 год. И они, эти люди, составили бы к началу войны больше половины старшего и высшего командного состава армии.

Нет никакой исторической необходимости персонифицировать эту огромную проблему, гадая, кто, на чьем месте, где и как бы воевал. Главное в другом, в том, что с фашизмом воевали бы все, и война, отбирая кадры, — а война все равно бы их отбирала, — выясняя истинную цену военачальников, отбирала бы эти кадры, во-первых, в несравненно более благоприятной атмосфере и, во-вторых, из куда более обширного круга людей.

Несколько слов о непосредственно предвоенной атмосфере. Людям, пишущим о войне, важна исходная точка. Сложность и противоречивость тогдашней обстановки у нас порой все еще примитивизируется и выглядит примерно так: после событий 1937–1938 годов и финской войны, открывшей глаза на наши слабости, армия стала перестраиваться; для ее успешной перестройки была создана нормальная атмосфера. Все уже шло к лучшему, и если бы вдобавок Сталин поверил Рихарду Зорге, принял необходимые меры, все было бы в порядке.

Казалось бы, на первый взгляд все правильно. Но это не так; подлинная историческая правда сложнее и противоречивее.

Да, каждый, кто в то время имел отношение к армии, хорошо помнит, с какой энергией после финской войны новое руководство Наркомата обороны стремилось навести порядок в армии, и прежде всего перестроить ее боевую подготовку.

Да, из финской войны делались выводы, в том числе форсировалось опасно затянувшееся перевооружение. Но сказать, что при этом в стране и в армии уже создались благоприятные для отпора врагу условия, было бы неверно.

Иногда изображают дело так, словно осенью 1938 года, осудив так называемые «перегибы» и наказав за них Ежова, Сталин поставил крест на прошлом; людей уже больше не объявляли врагами народа, а лишь освобождали и возвращали на прежние посты, в том числе и военные. С одной стороны, это верно. В армию вернулась часть командиров, арестованных в 1937–1938 годах, и некоторые из них в войну командовали дивизиями, армиями и даже фронтами.

Но с другой стороны, и в 1940 и в 1941 году все еще продолжались пароксизмы подозрений и обвинений. Незадолго до войны, когда было опубликовано памятное сообщение ТАСС с его полуупреком-полуугрозой в адрес тех, кто поддается слухам о якобы враждебных намерениях Германии, были арестованы и погибли командующий ВВС Красной Армии Рычагов, главный инспектор ВВС Смушкевич и командующий противовоздушной обороной страны Штерн.

Для полноты картины надо добавить, что к началу войны оказались арестованными еще и бывший начальник Генерального штаба и нарком вооружения, впоследствии, к счастью, освобожденные⁴.

Такова была в действительности предвоенная атмосфера на пороге войны с фашистской Германией. Сталин все еще оставался верным той маниакальной подозрительности по отношению к своим, которая в итоге обернулась потерей бдительности по отношению к врагу.

А теперь, представив себе эту — не мнимую, а подлинную — атмосферу того времени, задумаемся, в каком положении находились те военные люди, которые, анализируя многочисленные данные, считали, что война может вот-вот разразиться вопреки безапелляционному мнению Сталина, которое он ставил выше реальности.

Когда мы спустя много лет судим об их действиях в то время, надо помнить, что речь идет не о мере мужества, которое необходимо человеку, чтобы демонстративно подать в отставку, после того как единственно правильные, по его мнению, меры наотрез отвергнуты. К сожалению, дело обстояло не так просто, и прямое противопоставление своего взгляда на будущую войну взглядам Сталина означало не отставку, а гибель с посмертным клеймом врага народа. Вот что это значило.

И все-таки — мы знаем это по многим перекрещивающимся между собой мемуарам — находились люди, старавшиеся хоть в какой-то мере довести до сознания Сталина истинное положение вещей и, ежечасно рискуя головой, принять хотя бы частичные меры для того, чтобы не оказаться перед фактом полной внезапности войны.

Сталин несет ответственность не просто за тот факт, что он с непостижимым упорством не желал считаться с важнейшими донесениями разведчиков. Главная его вина перед страной в том, что он создал гибельную атмосферу, когда десятки вполне

компетентных людей, располагавших неопровержимыми документальными данными, не располагали возможностью доказать главе государства масштаб опасности и не располагали правами для того, чтобы принять достаточные меры к ее предотвращению.

Последним трагическим аккордом того отношения к кадрам, которое сложилось у Сталина до войны, были обвинения в измене и предательстве, выдвинутые им летом против командования Западного фронта — Павлова, Климовских и ряда других генералов, среди которых, как потом выяснилось, были и люди, погибшие в первых боях, и люди, до конца непримиримо державшие себя в плену.

Труднее сказать, что двигало Сталиным, когда он объявлял этих людей изменниками и предателями: расчет отвести от себя и обрушить на их головы гнев и недоумение народа, не ожидавшего такого начала войны? Или действительные подозрения? Думается, и то и другое — и расчет и подозрение, ибо ему уже давно было свойственно искать объяснения тех или иных неудач не в ошибках своих и чужих, а в измене, вредительстве и тому подобном.

От этой привычки потом, в ходе войны, ему пришлось, хотя и с рецидивами, но избавляться <...>.

<...> Хочу привести пример операции, в которой наглядно столкнулись истинные интересы ведения войны и ложные, лозунговые представления о том, как должно вести войну, опиравшиеся не только на военную безграмотность, но и на порожденное 1937 годом неверие в людей. Я говорю о печальной памяти Керченских событиях зимы — весны 1942 года...

<...> Заговорил я об этом отнюдь не затем, чтобы лишний раз недобрым словом помянуть Мехлиса, который, кстати, был человеком безукоризненного личного мужества и все, что делал, делал не из намерения лично прославиться. Он был глубоко убежден, что действует правильно, и именно поэтому с исторической точки зрения действия его на Керченском полуострове принципиально интересны. Это был человек, который в тот период войны, не входя ни в какие обстоятельства, считал каждого, кто предпочел удобную позицию в ста метрах от врага неудобной в пятидесяти, — трусом. Считал каждого, кто хотел элементарно обезопасить войска от возможной неудачи, — паникером; считал каждого, кто реально оценивал силы врага, — неуверенным в собственных силах. Мехлис, при всей своей личной готовности отдать жизнь за Родину, был ярко выраженным продуктом атмосферы 1937–1938 годов.

А командующий фронтом, к которому он приехал в качестве представителя Ставки, образованный и опытный военный, в свою очередь тоже оказался продуктом атмосферы 1937–1938 годов, только в другом смысле — в смысле боязни взять на себя полную ответственности, боязни противопоставить разумное военное решение безграмотному натиску «все и вся — вперед», боязни с риском для себя перенести свой спор с Мехлисом в Ставку.

Тяжелые керченские события с исторической точки зрения интересны тем, что в них как бы свинчены вместе обе половинки последствий 1937–1938 годов, — и та, что была представлена Мехлисом, и та, что была представлена тогдашним командующим Крымским фронтом Козловым.

Кстати сказать, мысленно восстанавливая всю эту драматическую керченскую ситуацию, можно не кривя душой назвать имена целого ряда других, уже выдвигавшихся к тому времени в ходе войны людей, которые, оказавшись в положении командующего фронтом, несмотря ни на близость Мехлиса к Сталину, ни на его положение представителя Ставки, думается, уже тогда не дали бы ему подмять себя, спорили бы до конца, дошли до Сталина и, возможно, убедили бы его в своей правоте.

И этих других людей нельзя выпускать из виду, исторически осмысливая те перемены к лучшему, которые постепенно совершались в армии в ходе войны с ее первыми поражениями, с ее сложным и длительным переломным периодом, с ее все нараставшими и нараставшими по своим масштабам победами <...>.

<...> Случаи «нераспорядительности, растерянности, а порой даже паники» в начале войны, чем они были — правдой или только видимостью правды? Были они фактами или явлениями? Думаю, что все это, вместе взятое, было явлением трагическим и опасным, складывавшимся из множества фактов. Это была не «видимость» правды, а самая настоящая, хотя и горькая правда. И только до конца поглядев этой правде в глаза, — что, кстати сказать, надо отдать ему должное, хотя и с опозданием, но сделал Сталин, — можно было с великими трудами повернуть общий ход войны.

<...> Истинная правда, если брать войну в целом, состоит не только в том, что мы отошли до берегов Волги, но и в том, что мы дошли затем до Берлина. Не только у нас, но, наверное, даже в ФРГ нет человека, который бы взялся оспаривать это.

Но если говорить об августе 1942 года, то истинная правда заключалась как раз в том, что мы «отошли до берегов Волги», —

то есть на самое далекое расстояние, которое когда-нибудь отделяло нашу армию от Берлина. И нас не могли привести на берега Волги просто-напросто «случай нераспорядительности, растерянности, а порой даже паники». Объяснять дело так — значит пытаться создавать видимость правды, потому что привели нас на берег Волги не те или иные имевшие место на войне неприятные случаи, а куда более грозные исторические причины, в первую очередь связанные с тем, что мы теперь называем культом личности. И Сталин в тот критический момент, или, выражаясь его собственными словами, в «один из моментов отчаянного положения», был куда ближе к «истинной правде» событий, подписывая свой знаменитый приказ № 227, чем Е. Вучетич теперь, через двадцать лет после войны, объясняющий наше отступление до Волги «случаями растерянности, нераспорядительности, а порой даже паники».

<...>

